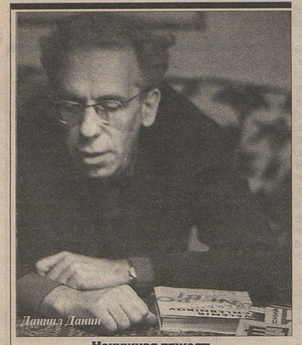
Данин Даниил

4-11.12.1997

Даниил ДАНИН

Строго как попало...


Даниил Данин

Ненужная тяжесть

Нынче, в июле 97-го, с опозданием почти на десять лет, а лучше сказать – с опозданием почти на целую эпоху, в развале библиотечных книг выуглилась темнозеленым торчком толстенная “**Осмыслить культ Сталина**”.

Книжный развал – в тесной библиотеке Дома ветеранов кино. Милой Тамаре Петровне, пожалуй, никогда не справиться с этим развалом: он нарастает как оползни в ущелье стареющих скал. Здесь эти стареющие скалы – застекленные стеллажи, набитые изданиями вышедших десятилетий. А книжные оползни у их подножий – не дары Кинофонда и не авторские дарения. Это то, что не смогли или не захотели захватить с собой на тот свет ушедшие ветераны. И не позарились унаследовать их родственники. Словом, эти книжные россыпи и завалы – дары смерти.

И толстенный том осмыслений **культа Сталина**, крутым углом прободавший слой разномастной беспереплетицы, тоже остался здесь от кого-то шагнувшего за порог Истории. А теперь я, за тот порог еще не шагнувший, беру в руки эту ненужную тяжесть. 645 страниц. Формат – почти *ин-фолио. Гарнитура – Цюрих. Печать* – офсетная. Тираж – 100 000... Зачем? Зачем сто тысяч? Зачем я это пишу? Запомнилась фраза Льва Толстого: “Как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу...”

Память уже издавно не расстается надолго с этой – такой смешной и такой трагической – нелепицей Толстого. Он всегда представлялся литературным Мафусаилом. И еще Гете. Казалось всю жизнь – до их последнего возраста уж никак не дотянешь! Виктор Шкловский говаривал: “Ну вот, история такая – я теперь старше Льва Николаевича, а заодно и Гете!” Первый отбыл 82-летним, второй – когда ему было 83... И теперь, когда приближаешься к собственным 84-м, все чаще не без живейшего интереса подумываешь о будущем приключении, каковое окажется свойственным только тебе одному. Правда глубинно безгласного переживания такого возраста соглашается с Толстым без всяких послаблений. И даже велит отбросить в его мнимо-нелепой фразе начальное “как будто”. Не как будто, а на самом деле **смерть такое приключение**, которое свойственно **только каждому** – в единственном **поименованном** числе. Это лишь статистически она – **стопроцентная**. А как доходит до дела – до нее самой, – да нет же, раньше, до навязчивых мыслей о ней, – так срабатывает в любом из нас маленькая катапульта надежды и выбрасывает даже обреченного из уготованного ему черного квадратика...

Черные квадратики ближних и друзей – как погасшие окна в огромном старом доме, где твое окно – еще светится. Но, черт возьми, почему нечаянно подвернувшийся том про осмысление культа Сталина потянул за собой памятную смерть толстовского Ивана Ильича, точно нельзя было поразмыслить о более жизненосных приключениях нашей плоти?

Да ведь в том-то все и дело, что слово “**Сталин** хочешь-не-хочешь тянет за собою слово “**Смерть**”... Раньше всего остального. И после всего остального. Не в этом ли вполне достаточное **осмысление культа** Сталин сделал смерть таким приключением, которое стало свойственно всему социалистическому обществу! Единственное, чего он не сумел одолеть, – **статистику**: она без спросу припасла ему черный квадратик сбывающейся вероятности, и маленькая человеческая катапульта в его антидуше не сработала. И его единственной заслугой перед человечеством останется только то, что он подтвердил стопроцентность ухода за порог Истории. Научно подтвердил. Экспериментально. На самом себе!

...Политики, историки, философы, социологи, политологи, психологи, писатели замечательно представлены в напрасном томе “**осмысление**...”. И надо бы удержаться от лишнего остроословия. Но очень хочется пожалеть, что нет на свете био-публистической профессии – **смертологи**.

Им было бы что сказать в этой книге.

Избранный народ

Леонид Михайлович Баткин искал наукообразное определение для эпохи властвования сталинизма-большевизма-советизма. Что-нибудь эдакое – по происхождению, вроде аристократии, демократии, бюрократии, плутократии... Нужное добавление перед греческой “**кратией**” не отыскивалось. И Леонид Михайлович решил, что хороша будет в макароническом стиле смесь “древнегреческого с нижегородским”: **серократия** – власть серости.

Язвительно и неоспоримо. Однако, право же, слишком невинно. Даже благолепно. Можно столь же кратко, но судьбоносней: **арестократия**.

И каждый выходец из той эпохи может по праву говорить о себе:

– Я, если не возражаете, **арестократ**. К тому же – потомственный.

Это если в роду были действительно репрессированные – тюремно-лагерно-расстрельные арЕстократы. Ну, а коли повезло и не было таковых, тогда уж надо представляться скромно:

– Я, знаете ли, не из родовитых. Не из бархатной книги. Не какой-нибудь Овчина-Телепень-Оболенский, а из мелкопоместных, невинно-райкомовских, ну там Зюгановых-Анпиловых и просто безлошадных...

“Эпоха арЕстократии” хорошо звучит.

Еще лучше: “Кто ни возьми – все у нас арЕстократы. Такой народ. Избранный из бранных”.

Мемориальная череда

Сегодня подумалось, – без проследимого повода, а не пора ли сделать, наконец, кратенькие записи о приключившихся на моем веку кратеньких соприкосновениях с супер-достойными современниками – знаменитостями века? А то ведь вывертится из седо-лысой головы последнее, что еще держится в ней об этих минутных встречах. (Держится-помнится только по причине многотиражных повторений в пробалтываниях прошлого под дружеское позванивание рюмок и стопочек).

С чего же начать затеянное... Наверное, с перечня означенных современников. Но как их построить в мемориальный черед – по старшинству, по алфавиту, по масштабу? Хоть и недлинный *это черед, да ведь надо как-то его оправдать.*

Если по старшинству, мне повезет однозначно: старейшим был Горький! Да-да, Алексей Максимович: представьте, семьдесят лет назад 14-летнему мальчику случилось дважды соприкоснуться с “великим пролетарским”, а честнее – с дополнинным классиком русским! Настоящим, черт возьми, классиком! Его ведь в школе уже проходили.

Если по алфавиту, снова мне повезет бесспорно: первой в череде окажется Анна Ахматова! Нет, уж, конечно, полногласно: Анна Андреевна, даже без попытки проглатывания второго необязательного “е”. А коли она во главе, череда, естественно, сократится: трудно соразмерно выстоять рядом с нею в памяти современника. Стало быть, при алфавитном построении затея моя еще и облегчится, не так ли? Конечно, конечно! Да только смешное это облегчение, – точно кто-то насильно вовлекает меня в эту затею и я уже не властен распоряжаться в ее пределах, а то и просто от нее отказаться.

А может, и правда – уже не властен?

Но погодите – есть еще третий способ построить череду знаменитостей: по масштабу заслуг. Кажется, так-то вернее всего. Но попробуй я только начать “по масштабу”, как рука сама остановится на первом же имени, – будь то Мейерхольд или Сарьян, Шостакович или Петр Капица, Андрей Белый или Осип Мандельштам, Иосиф Бродский или Генрих Нейгауз, Евгений Шварц или Константин Паустовский, Лев Ландау или Олеша, Юрий Любимов или Юрий Трифонов, Эрнст Неизвестный или другой Неизвестный, пока известный мне одному... Рука сама остановится – не захочет потакать нелепости сравнения одаренностей. И уж тем более – глупистике раздачи нумерованных мест на Олимпе.

...К слову сказать, как переполнена тщеславной чепухой память литератора! Вот написал я сейчас “рука сама остановится...” и почувствовал, что повторяюсь. Минута сомнения – и припомнилось, как олимпийским летом 80-го года в Переделкине долго мне не удавалось начало будущей книги “Время стыда”. Наконец, я взял да и прямо настукал строки именно об этом – о том, что не настукивается желанное:

“Рука повисает в воздухе – пальцы сами не желают опускаться на клавиши. Недоумевают: “Зачем?..”

Давным давно забылись бы эти пальцы над машинкой, не попадись они в свое время на глаза главному редактору “Знамени”, когда в начальную пору нашей гласности ему пришлось решать – связываться ли с моей запаздало-диссидентской рукописью или нет?.. Вторая часть еще писалась. Но довольно было первой страницы первой части, чтобы я услышал по телефону: “Подумайте, Д., дорогой мой, у вас там пальцы сами не хотят опускаться на клавиатуру машинки. Это наверно – так не бывает...” Я не возразил. Отказа ожидал. Хотя нас с Баклановым связывали вполне добрые отношения, я знал, что писательство мое ему не по вкусу. Защищаться было нелепо. Хороший прозаик, имел право на свою метафористику. В нее не умещалось то, чего “не бывает”. А я был из другой команды: кентавров-научхудов. Наше “художество” не почиталось “настоящим”. Зато у нас были свои права.

Метафоры – свидетельские показания, но не очевидцев, а воображал! Испанцы говорят: “вдвоем привидение не увидишь”. Так и метафору – вдвоем не облюбуешь. И вот я в одиночку повторяю облюбованную когда-то манерно повисшую над машинкой еще не совсем стариковскую руку, – почему-то одну? – и велю ей не двигаться: а то вдруг настукает соревновательную глупистику про наших знаменитостей века... Нет, правда, непростительно было бы позволить пальцам опуститься на клавиши, дабы расставить по ранжиру замечательных постоятельцев моей везучей души... Какой еще ранжир! Тут годится только **строго как попало**! Так они появлялись в жизни. Так нечаянно построились парами на предыдущей страничке. И, может быть, так нечаянно намекнули мне, благодарному вспминателю – в каком беспорядке рассказывать о них то, что стоит воспоминания?

Итак, что же – первым в беспорядке назвался Мейерхольд. Но простая вежливость все-таки требует почтения к старшинству. И потому – сначала Горький.

Через “и” с точкой

...Нам – трем мальчикам в тщательно разглаженных пионерских галстуках – открыла дверь высокая статная дама в старинном платье до пят. Она пропустила нас под рукою в переднюю, точно мы были малышами, и звякнула дверною цепью. Приветливо велела подождать: “У Алексея Максимовича люди...”

Была громада платяного шкафа и на нем чемоданы с многоцветными наклейками, как марками из коллекции великана. На одной из них зоркий Вовка – мой брат-близнец – щепотом прочел латинские буквы: “**хотел**”. Третий в нашей делегатской троице – смешливый толстячок Муська Броун – тихо прыснул и поправил Вовку: “**отель**!” Мы переглянулись, сразу догадливо прикидывая – во скольких же заграницах побывал хозяин альбомно обклеенных чемоданов! Спор – “во скольких” – стал предметом ора потом, а в те минуты покорного ожидания мы старались быть тише воды...

Так настраивал нас еще один ожидающий приема – бледнолицый взрослый, тоже в краном, но не пионерском, а франтоватом галстуке. Нервически меряя шагами просторную переднюю, он при каждом повороте взглядывал на нас с отвращением. Наверное, боялся, что мы станем у него на пути.

Так оно и случилось! Когда в переднюю снова вошла статная дама, провожая кого-то к дверям, он устремился за ней с восклицанием: “Катерина Пал-лна!” Видно было: неврастеник зождался своей очереди. Но Екатерина Павловна, чуть обернувшись, спокойно утишила его порыв: “Посидите, Державин, посидите. Алексей Максимович просит сперва пионеров...” И она позвала нас за собой.

Потом уж, азартно рассказывая о нашем посещении Горького с молекулярными подробностями, мы острили, что какой-то Державин выглядел и вправду “как в гроб сходя”. И не знали, что это был одаренный молодой поэт... С годами он стал одним из известнейших наших переводчиков, пожалуй, из самых Арсению Тарковскому и Семену Липкину (упоминаю лишь эти имена, потому что Владимир Державин был из их поколения). Перед самой войной нас познакомили у буфетной стойки в писательском клубе. Он был таким же бледнолицым и взвинченным, как тринадцать лет назад в квартире Екатерины Павловны Пешковой в Машковом переулке. Я весело признался, что был заводилой в той тройке пионеров, что на полчаса продлила его топтанье в горьковской передней, но он мою веселость не поддержал. Может, оттого, что был изрядно пьян. Удивил рискованный в ту пору критической фразой против “живых классиков”. И если этого не придумывает сейчас моя рука, нависшая над машинкой, уличил тех безымянных классиков в “недочеловечности”...

Безвариантно: было очевидно, что тогда, в 1928-м, только что вернувшийся из Италии в Россию шестидесятилетний Максим Горький чьи-то ожидания не оправдал. Но что бы ни вспомнилось тут на эту тему, стало бы лишь пересказом с чужого голоса, то есть сплетней, а не живым (еще живым!) свидетельством мальчика из вымирающего поколения “ровесников революции”... Горький был для нас **буревестником**. И еще – **соколом**. И еще – тем, кто “**звучит гордо**”.

...Статная дама пропускала нас в приоткрытую дверь горьковского кабинета снова под рукой, как малышей. И мы, невольно наклоняясь, проскальзывали туда как бы с поклоном, замеянявшим робкое “здравствуйте, Алексей Максимович!”

– Смелее, смелее, ребятки! – раздалось из-за огромного письменного стола. И Горький стал подниматься нам навстречу, долго и, казалось, суставчато – таким он был высоким и худым.

Не помню, стояли мы или сидели, помню, что не спускали с него глаз. И даже, когда он начал показывать нам громадный фотоальбом раскопок Геркуланума и Помпеи, мы продолжали глазеть на него, а не на мертвые снимки. И, заметив это, он отрывисто хохотнул: “Да вы, мальчики, сюда смотрите, сюда! Это ведь все из-под пепла, из-под пепла...” Не рискую продолжать его прямую речь, – дословно ее уже не вспомнить. Он говорил с нами, как четвертый в нашей компании, только больше повидавший на своем веку. В нем не было педагогического старшинства. Он сразу сказал, что оно и вправду разумно – мы рассмотрим альбом без него, так как он нам его подарит на память. А пока он лучше пораскажет нам кое-что об итальянских вроде-пионерах – фашистских отрядах “балила”.

Помню, на этих “балила” я осмелел: как вожак в нашей тройке, стал объяснять, что мы – “пионеры настоящие” и попросили о встрече с ним, в надежде уговорить его приехать на открытие нашего летнего лагеря за Акуловой горою в Пушкино...Пообещал я даже, что мы расстараемся и достанем если не автомобиль, то извозчика от станции Пушкино до нашей линейки со знаменем. А мой братик Вовка, шалопай-красавчик, отродясь не бравший в руки ни единой сверх-льновой книги, так расхрабрился от зримой покладистости Алексея Максимовича, что вдруг сказал, будто нет у юных пионеров более любимого писателя, чем Горький Максим!.. И толстячок Муська прибавил что-то искренне-льстивое, о чем мы вовсе не уславливались заранее. И, пожалуй, в этот-то момент Алексей Максимович потянулся к белейшему платку на столе, сгреб его и приложил к глазам!

Борис Григорьев. Портрет А.М.Горького

А рядом на столе высился несказанной красоты синий кобальтовый бокальчик с золотою крышкой. Мы не понимали для чего этот бокальчик, пока расчувствовавшийся старик, отерев глаза, не зашелся в долгом кашле. Отложив платок, он сгреб теперь синий бокальчик, ловким щелчком открыл сияющую крышку и принялся густо сплевывать в эту свою замечательно-неожиданную урночку. Откашлявшись, он каким-то новым голосом медленно сказал, что едва ли сможет приехать в наш лагерь, тем более он уже обещал побывать в колонии беспризорных. “Это важнее”. И не выпуская из грабастой руки свою синюю урночку, стал говорить, что мы – счастливые “юные ленинцы”, а он прожил нездоровое детство, и мы, наверное, читали об этом, а он только вот прибавит, что с шести лет начал курить и потому не может выполнять обязательный обычай юных пионеров – “**не курить**” (он произнес это и впрямь большими буквами). И мы уж его простим, если он сейчас закурит. И снова суставчато вытряхившись, он дон-кихотским шагом подошел к дверям, потрогал – плотно ли закрыты, молча вернулся к столу, и, **который гордо реет** принялся мелко возиться в настольной картонке, вытаскивая что-то заграничное куритльное, из чего понятными для нас были только нарядные спички. Все это курительное он продельвал такими движениями, что было ясно: мы, бесстрашные революционные мальчики, присутствуем как сообщники при торопком сокрытии обряда запретного для **Буревестника**... **Сокола**... **Данко**... Этот обряд понуждал его снова и снова прикладываться к урночке с золото-сияющей крышкой. Совершенно по-взрослому было жалко его. Но сильнее была боязнь – как бы старик не забыл обещанное – подарить нам археологический альбом, а кашель и урночка не позволяли заговаривать “без спросу”...

Но он не забыл. Вручение альбома стало сигналом – пора вам, ребятки, уходить! Прекрасная книга вручалась мне как главному. И ладошка моя потерялась в костистом – снова донкихотском – рукопожатии **великого**. На титуле альбома была дарственная:

123-му отряду юных ленинцев – привет. М.Горький.

Да, через “и” с точкой! В 1928 году! И “привет” был через “ять”. В 1928-м! Не знаю, как проверить точную дату дарения. Я до-ллго хвастался тем альбомом, пока, прикрепленный к нашему пионеротряду, – молчаливый латыш со странной фамилией **Книга** не вынудил меня отдать “подарок самого Максима Горького” на хранение в сейфе партячейки треста ГОМЗЫ (Государственные Машиностроительные Заводы). Там, в трестовском Красном уголке на Никольской, хутился наш пионеротряд. И там работал инженером мой отец. Через него-то и провел нестибаемый партиец Книга операцию изъятия у меня, сгибаемого юного ленинца, горьковской книги. Больше я ее не видел. А где-то у кого-то тот дар Буревестника, несомненно, хранится и сегодня?!

Тут бы и одолжиться избыточной точкой в псевдониме Алексея Максимовича Пешкова. Рассказик мой и так затянулся – возможно, из-за невольного подражания его обстоятельному реализму? Но ведь случилось у меня еще и итого-ще кратенькое соприкосновение с тем, кого уже в школе **проходили**. В том же 28-м или в самом начале 29-го. Однако уже не в тихой его обители на квартире Екатерины Павловны Пешковой, а в шумном многоголосьи кинотеатра “Колизей” на Чистых прудах – в двух шагах от Машкова переулка. И говорили, что он пришел в “Колизей” на встречу с пионерией Москвы пешком, и что появился он обвешанный мальчишками и девчонками, узнавшими его по дороге. А я был призван на сцену по велению Веры Лядовой – тогдашнего редактора “Пионерской Правды”. Она знала, что некий мальчик Д. еще весной самовольно “ возглавил делегацию пионеров к Горькому” и поэтому...

Поэтому мне поручалось просить **великого старика** от имени всех пионеров сделать то, что он уже сам – по собственному почину, – приказал для себя невыполнимым: **бросить курить**! Конечно, я помнил это, а старик навернякa узнал “того мальчика, который...”: он улыбнулся в усы, махнул мне рукой, и снова повторил, что как же ему послушаться доброго совета, коли курит он с шести лет?! И снова проследился. Теперь уже на глазах у всей России.

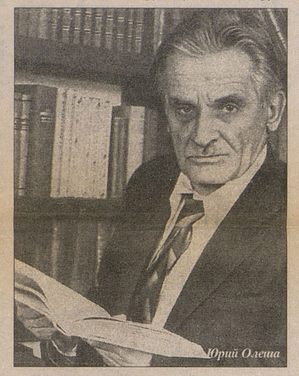
Это не ирония: ту встречу с пионерами в “Колизее” снимала кинохроника, а киножурнал показывали во всех киношках перед каждым сеансом, пока номер не устарел. Лента сохранилась. И через 40 лет в телепередачах к 100-летию Горького я вдруг увидел себя на сцене в “Колизее”! И, признаюсь – в свой черед прослезился. Понимаю, однако, по причине совсем иных чувств, чем те, что вызывали пресловутую слезливость закаленного в невзгодах классика.

...Перечитал сейчас эту горьковскую запись и спросил себя: неужто она затеялась ради пустословия вокруг неразрешимой проблемки “курить-не-курить” **Великому пролетарскому**? Нет-нет, за дилеммой “курить-не-курить” слышалось мне кое-что драматическое, да только затерялось оно в суесловии. Отыскать попробую...

Мелькнуло выше: “это не ирония”. А меж тем, заметил я то тут, то там немало иронического в этом тексте. Ну, вроде – **того, который гордо реет**...**дара буревестника**...**грабастой руки**... наконец, насмешливого **великий пролетарский**... И даже про стариковскую его слезливость сказалось не без иронии.

А ирония – это обесценивающая оценка. На нее надо иметь право. Не шуточное! И не шутовское.

...Шут – вечная профессия. Не исчезнувшая вместе с былыми королевскими дворами. Это насмешник в законе. Круглосуточный говорун-обольститель, но не сокрушающий комик-человековед (как Райкин). Из-за него не нужно усиливать охрану в грэческом зале. Для шута все сущее – трын-трава, а потому и его оценки сущего –несущественны. Тоже – трын-трава. Однако почему-то задевает душу все длящееся и длящееся шутовское иронизирование над нашим трагическим лихолетьем. По меньшей мере, для трех поколений россиян то лихолетье было судьбою. Дежурит в памяти строка Пастернака:


Юрий Олеша

“Я вам не шут!.. Я жил как вы...”!

Это вырвалось на рубеже 20-30-х годов (в “Спекторском”). И там же он метонимически растолковал, что значило “**как вы**”:

История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом...

Это всегда было страдальчески ведомо Горькому. Всеобще житейское выступало у него как **историческое**. И потому такой содержательно жестокой – трудно-человеческой – ощущалась жизнь во всем лучшем, что он написал: в дупе оставили свой след “Городок Окуров”, “Трое”, “Фома Гордеев”, “Дело Артамоновых”, “Мои университеты”, “Жизнь Клима Самгина”... И сильный его театр – “На дне”, “Мещане”, “Дачники”, “Егор Булычев”... И не ставшие своевременно известными нам его “Несвоевременные мысли”.

Вот уж кто мог по праву прорычать, одолевая кашель: **– Я вам не шут!** И еще громче: **– Я вам не раб!**

Однако... однако пришел час, когда он если не **шутовски**, то **рабски** перечеркнул свою строптивую независимость, начертав поверх своего знаменитого и, казалось, неподкупного гуманизма желанное Сталину: **“Если враг не сдается, его уничтожают”**

В 1928-м оставались два года до этой непрощаемой формулы: один сведущий друг мой сейчас подсказал, что статья с таким злополучным названием была напечатана 15 ноября 1930-го сразу в двух официозах – в “Правде” и “Известиях”! Только партийно-государственный документ мог быть удостоен такой чести. И в тот день Горький потерял то, что приобретал десятилетиями: антигосударственную и беспартийную честь человеколюбца! И в тот день наделил всех нас, современников, потенциальным правом на горькую иронию... Так что же – воспользоваться этим правом?

Признаться, не очень хочется. В море сегодняшней ничего не стоящей иронии, – ее почему-то приписывают веяниям постмодернизма, – в этом холодном море хочется побыть на обитаемом острове теплой суши. Это значит – прислонить там стремяночку к старому стеллажу, достать давний томик Некрасова Николая Алексеевича, мало ценимого со школьных лет, и перепечатать сюда его бесценную совершенно тютчевскую строфу:

Я не люблю иронии твоей,
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим,
Нам рано предаваться ей.

Поразительно: это строки 1850 года, когда ему было всего-то 29 лет! Как поверить, что от чувства сохранился в нем уже только “остаток”?! Да, только остаток, но такой весомый, что его оказалось достаточно, дабы перевесить на весах души груз иронии. Примериваться к этим строкам словно бы и нескромно: держишь в уме, что ты – не громкий поэт, а один из малых сих. Но поэзия-то адресуется всем и просто жаждет быть причастной к жизни каждого. А потому скажу, не обинуясь, что в этой записи о трагически-великом нашем последнем классике, выросшем из XIX века, мне, восьмидесятитрехлетнему аборигену XX века, очень хочется быть на уровне двадцатидевятилетнего “певца российских печалей”.

Все ироническое в этой записи беру назад. То ли рано нам, то ли уже поздно прислушиваться к веяниям постмодернизма. Тем более не зная всерьез, что это такое.

Еще раз – Мейерхольд

“Еще раз” – это я веду счет для себя. И для тех из близких, кто, может быть, помнит, что мне уже случилось трижды вспоминать о кратких соприкосновениях с этим человеком поокружного дара: в рассказе о его ссоре и примирении с Татлиным, *в поминальной заметке* о Свердлине, в книге “Бремя стыда”, где он в профиль – как на египетской фреске – слушает читающего Пастернака. Повторяться совестно. Но осталось в моей душе-копилке кое-что недосказанное. А Он – из тех, о ком чем больше, тем справедливей. И желанней.

...Были годы – я собирал долгоиграющие записи старинной музыки. По преимуществу – XVIII века. И однажды мне попалась чешская пластинка с фортепьянными вещами, – на самом деле клавирными, – второго сына Баха: Карла Филиппа Эммануила. Пластинка начиналась с “Андантино”. Музыка была детской ясности и кристальной чистоты. И мучительно знакомой!

Говорю “мучительно”, оттого что каждый раз, ставя ту пластинку всем, кто заглядывал к нам на Дмитровский, понапрасну силился вспомнить – где же я слышал впервые эту пленительную пьесу, эту баховскую прозрачность вкупе с моцартовской легкостью?

Накатило, как всегда, непредвиденно... Приехал из Питера Юрий Герман. Остановился у нас. На своей последней книге сделал моей маме дарственную “от углового жильца”. И рассказывал ей, как бездомно ему бывало в его первые наезды в Москву, когда в него, двадцатилетнего, поверил Мейерхольд, и ему достался счастливый удел – превращать в удобоваримую пьесу – “для самого Всеволода Эмильевича!” – свой роман “Вступление”. В энный раз я с неизменным наслаждением слушал этот Юрин рассказ – он всякий раз расцвечивал его настроением минуты и, вероятно, оттого, что в тот вечер главным слушателем была моя мама, Ираша заговорил о “Мейерхольде дома”. Запомнилось, как он “почувствовал себя в другой жизни”, увидев Зинаиду Райх в домашнем брючном костюме какой-то иностранной выделки и красоты...

Тут-то меня и осенило!

Память нырнула тогда в те же времена, о которых говорил Герман: в начало 30-х... 18-летний в 32-м, я был одержимо-деятельным (или, скромнее, навязчиво-суетным) председателем молодежной Бригады Маяковского при его посмертной Выставке в Литмузее Ленинской библиотеки. Весной этой Выставке стало грозить закрытие. До сталинского монаршего благословения – “лучший талантливейший”, к несчастью, вводившего Маяковского в наш культурный обиход “как картошку при Екатерине” (по остроте Пастернака), оставалось еще три года. А покуда, в 32-м, добровольно упедший из жизни Маяковский еще числился в партийной критике “мелкобуржуазным бунтарем”. Меж тем его выставка как бы открывала Литмузей: красиво начинаясь на спиральном взлете парадной лестницы, она только наверху – на втором этаже – уступала место Выставке Максима Горького. И получалось, что к экспозиции Великого Пролетарского приходилось идти через “не то”. Требовалось исправить политическую ошибку. Как? Да самым обычным для нас наилучшим способом: закрыть-запретить-ликвидировать! Наша юношеская Бригада бросилась спасать экспозицию Маяковского.

Потому-то в один прекрасный весенний день я очутился на лестничной площадке второго (или третьего?) этажа в скромно-сером доме почти на углу Брюсовского и Тверской. Долго не решался позвонить в обыкновенную, но таинственно означенную именем Мейерхольда дверь... (Так, через 36 лет, в осеннем Копенгагене 68-го года я топтался, робея, перед дверью, означенной именем Бора, где одиноко вдохновывала его фру Маргарет. Слово “Мейерхольд”, как и “Бор”, было из немногих магических для меня имен собственных в живой и длящейся истории мира. И магия этих имен всю жизнь действовала на меня как препарат кураре: обездвиживала мускулатуру и лишала голоса).

Точно парализованный, я не сразу переступил порог открывшейся двери. “Да-заходите-же!” – раздался ошеломляюще знакомый женский голос. К той поре я уже по многу раз перевидел все мейерхольдовские спектакли в здании на Триумфальной. И был по-мальчишески издали влюблен в Зинаиду Райх. Я негодовал, когда слышал, как сплетня-молва превращала пленительную актрису всего только в “жену режиссера”. Но идучи тогда на Брюсовский с безотлагательно деловым поручением от нашей Бригады маяковистов, я почему-то ни на мгновенье не допускал смущающей мысли, что могу оказаться лицом к лицу с хозяйкой дома и, стало быть, должен буду произнести какие-нибудь слова... И вот, – исполняя повеление “да-заходите-же!”, должен был вдруг шагнуть через порог навстречу этой женщине!

Почудилось и ужаснуло: я неурочно вторгся в час домашней репетиции, потому что на ней был театральный костюм. Но мне было назначено точное время и я пришел абсолютно точно. Следовало тотчас сообразить, что театральный костюм – нарядная дамская пижама, каких я по младости лет просто еще не видывал. Иллюзию репетиции создавала вдобавок тихая музыка, доносившаяся из-за двери в глубине передней.

Представившись, я не знал, что делать дальше и только во все глаза смотрел на Зинаиду Николаевну, а *у нее был прислушивающийся* взгляд – казалось, она смотрела на ту музыку, что приходила из-за прикрытой двери, и приглашала гостя тоже слушать, молча.

...Вот это-то воспоминание и накатило на меня через 30 лет, когда Юрий Герман рассказывал моей маме, как он ощутил себя в “другой жизни”, увидев Зинаиду Райх в домашнем “брючном костюме”. Надо ли говорить, что музыкой за дверью было “Андантино” Филиппа Эммануила Баха. Наконец, сквозь толщу трех десятилетий я **услышал** эту пьесу впервые, только теперь узнав, как она называется и кто ее сочинил!

...Была тогда минута, когда музыка стала заливаться, словно играющий пробовал звуки на выносливость, повторяя одно и то же. В ту минуту Зинаида Николаевна, распахнув заветную дверь, громко сказала – “Всеволод, к тебе мальчик из Литмузея!” – и меня снова заколодило, на сей раз в проеме входа в длинную комнату-зал, где у дальней стены была распластана огромная тахта, покрытая породистым ковром. Там возлежал, – другой глагол не сгодился бы, – сам Мейерхольд. (Глуповато звучит это “сам”, но тут без подчеркивания не обойтись!) Он рукой поманил вошедшего, то есть меня, и мне, то есть вошедшему, пришлось нескончаемо идти под его молчаливым взглядом, пока ноги не приблизились к свисавшему с тахты ковру. Может, потому показалась непомерно длинной та комната-зал.

Было сильное рукопожатие. Потом он стал читать наши короткие письма в защиту Выставки Маяковского. Они нуждались в его подписи. Одно адресовалось Максиму Горькому, другое – заместителю Наркома просвещения Ивану Лупполу. Он одобрительно улыбался нашим воинственным доводам “за” и обличающим “против”, повторяя их вслух. Похвалив оба текста одною фразой – “а что – убедительно!”, он спросил – чьи еще будут подписи. Я принялся было заученно – по алфавиту – перечислять лефовцев. ...Асеев, Брик, Ган... но Мейерхольд нетерпеливо прервал этот перечень: “Нельзя! Сектантство!” Может быть, чуть длиннее, но с резкой краткостью высказал он именно это. Я пробормотал, что, наверное, даже лучше, если будет одна его подпись. Он попросил-приказал: “Громче!” И я снова проговорил свою лесть без бормотанья. Он протянул руку. Я не понял жеста. Но снова последовало краткое: “Перо!” Не замешкавшись, я протянул вечную ручку навстречу его сильной ладони. Он подписал оба письма, не вставая – полулежа... Был приветливый кивок седеющей головы и завершающее повеленье сообщать ему “как дела”. Потом я повернулся, чтобы начать обратный путь к далекой двери, и услышал за спиною:

Окончание на 10-й стр.

В № 31 за этот год “ЭС” начала публикацию фрагментов из новой книги Д.Данина “Строго как попало...”. В этом номере – продолжение.

БИБЛИОТЕКА “ЭС”

– 9 страница, 10 страница